



Л. П. КАРСАВИН

Федор Павлович Карамазов как идеолог любви

1. Любовь — вселенская сила, «l'Amor che move il cielo e l'altre stelle»¹.

Отчетливо встает предо мною физиономия Федора Павловича Карамазова: маленькие наглые глазки, жирные мешочки под ними, брызжущие слюной пухлые губы с остатками гнилых зубов за ними, тонкий нос с горбом, нос хищной птицы, и похожий на кошелек кадык, — «настоящая физиономия римского патриция времен упадка». Почти слышится его «дрожащий полушопот», льстивый и лживый...

«Деточки, поросяточки вы маленькие, для меня даже во всю мою жизнь не было безобразной женщины, вот мое правило... По моему правилу во всякой женщине можно найти чрезвычайно, чёрт возьми, интересное, чего ни у которой другой не найдешь — только надобно уметь находить, вот где штука! Это талант! Для меня мовешек не существовало: уже одно то, что она женщина, уж это одно — половина всего... Даже вельфильки... и в тех иногда отыщешь такое, что только диву даешься на прочих дураков, как это ей состариться дали и до сих пор не заметили!»

Есть в этих словах что-то знакомое, влекущее не только похотливость, зовущее погрузиться в себя... Так хочется беречь больную рану, и с болью сплетается какое-то наслаждение... Чем-то глубоко пронизывающим в природу Любви и в меня самого веет от клейких слов и наглого хихиканья. Еще вчера так ясно было мне, что Любовь узревает красоту в безобразном; сегодня Федор Павлович, правда — по своему и мелко-похотливо, но, может быть, ярче повторяет почти те же слова. Да разве Федор Павлович любит, разве он способен любить?

Он видит то, чего не видят другие, улавливает неповторимо-индивидуальное. Ценитель «грубой женской красоты» до безумия увлекается матерью Алеши, ее невинностью. Пускай ему хотелось осквернить

ее чистоту. — Он ее понимал и чувствовал, острее и глубже, чем иной «благородный» и непохотливый человек. Сама жажда осквернить понятна лишь на почве острого ощущения того, что оскверняется. И восприятие чистоты (т.е. сама чистота) должно было находиться в сознании Федора Павловича, в известном отношении быть им самим. Он познавал чистоту Алешиной матери, т.е. стремился к ней и любил ее; иначе бы и не познавал. Ощущая в себе сияние чистоты, он ощущал несоответствие между нею и темным своим эмпирическим я и знал, что она выше его. И попирая ее, он знал, что попирает лучшее и святое, влекущее его к себе и любимое.

Федора Павловича не только «тешит», а до боли услаждает «рассыпчатый» смешок его «кликуши», «звонкий, не громкий, особенный». Он знает, что «так у нее всегда болезнь начинается, что завтра же она кликушей выкликать начнет и что смешок этот теперешний, маленький, никакого восторга не означает, ну да ведь *хоть и обман, да восторг!*» Ему, значит, понятен и желанен восторг; он хочет цельного чувства, а не только развратных вывертов, и болеет неизбежностью обмана. — Не своего восторга, скажут мне, а восторга кликуши. Федор Павлович, словно хищный зверь, ждет этих мгновений восторга, чтобы потом тем беспощаднее его растоптать и осквернить. Он думает лишь о своей утехе. — Но можно ли знать чужой восторг и не обладать им в себе, а обладая им можно ли его не любить? Знание и любовь отождествляют со знаемым и любимым.

Безобразен Федор Павлович, но чуток к прекрасному; грязен, но влечется к чистому и святому. И этот же *чуткий* человек находит, что Лизавету Смердящую «можно счесть за женщину, даже очень... Тут даже нечто особого рода пикантное...». Что влекло его к Лизавете, к идиотке ростом «два аршина с малым»? — Он думал, и всякий думает: не она сама, а особенность наслаждения, «пикантность». Но ведь эта «особенность» немыслима без самой Лизаветы, и сознание в себе *такого* влечения есть вместе с тем и познание в Лизавете чего-то непонятного и невидимого для других, самой Смердящей.

Дмитрий Федорович назвал вождедения этого рода «цветочками польдекоковскими». Но дело тут не только в цветочках. — Митя видел у «Грушеньки-шельмы» пальчик-мизинчик, в котором отозвался «один изгиб тела», и по части и в части постиг он этот «изгиб», понял больше, чем его — всю Грушеньку, и телесность, и душевность ее. Это уже не «цветочки»: это целостное постижение, от низменной похоти возносящее к вершинам Любви. И в отце, и в детях живет какая-то вещая, чудесно-чуткая стихия. Как Митя, необразованный и дикий Митя, тонко и полно понимает ту же Грушеньку или Екатерину Ивановну! Как безошибочен взгляд самого старика, бо-

ящегося Ивана, слепо доверяющего Григорию! И острый ум Ивана, и необыкновенное чутье Алеши, и цинически-прозорливая расчетливость Смердякова вырастают из одной и той же стихии их отца. Не опыт житейский учил их. — Опыт дает только шаблоны и схемы, сырой материал для внешней индукции, не открывающей душу чужую. Опыт ведет лишь к ошибкам. Если же в нем открывается чужая душа и пронизываются чужие мысли, так это только — в нем, а не он: это нечто совсем иное, хотя и в нем проявляющееся. Тут особого рода постижение, особое познание, которое покоится не на догадках, а на подлинном приятии в себя чужого я, на каком-то единении с ним, без любви невозможном. Неважно, много или мало «пережил» человек; важно, чтобы открылись глаза, а они могут открыться и при первом же взгляде. И дальнейший «опыт» дает прозревшему не шаблоны и схемы, а новое знание о неведомом раньше, хотя, как дерево из корня, и растет оно из первых прозрений, ибо все едино в чудесном познании — любви.

Федор Павлович знает, что «босоножку и мовешку» (только ли их?) «надо сперва-наперво удивить... до восхищения, до пронзения, до стыда». И он становится могучим чрез раскрытие и постижение, а значит, и чрез сопереживание чистого идеализма «босоножки». Знание становится *средством* низменного самоуслаждения, и сопереживание гаснет в восторге злой власти, гаснет, но не исчезает. Митя «в темноте, в саях принудил к поцелуям эту девочку, дочку чиновника, бедную, милую, кроткую, безответную. Позволила, многое позволила в темноте». Кому же в этих словах неясно подлинное постижение Митею кроткого образа и милой души безответной девушки, всей ее сдержанной еще внутренней нежности? И должно же быть все это в душе Мити для того, чтобы мог он «игрою» «забавлять» свое «сладострастие насекомого». Да, его «забавляло», как на балах «следили» за ним глаза обманутой, как они «горели огоньком — огоньком кроткого негодования». Но он переживал в себе это «кроткое негодование» (слова-то какие точные!), и тем острее, чем более оно его забавляло. Мало того, он знает (как знает, впрочем, и сам Федор Павлович), что в таких действиях и мыслях он «клоп и подлец», что мысли его — «мысли фаланги». Он осуждает себя, и все-таки себе не изменяет, даже чует в самих извращениях своих нечто самоценное.

«Я иду и не знаю: в вонь ли я попал и позор или в свет и радость. Вот ведь где беда, ибо все на свете загадка...» Митя чувствует, что падает вниз, в бездну и грязь, «головой вниз и вверх пятнами», но «даже доволен, что именно в унижительном таком положении» падает и считает «это для себя красотой». Он ощущает какую-то правоту свою и в самом падении своем, в «самом позоре» начинает гимн.

Душу Божьего творенья
Радость вечная поит,
Тайной силою броженья
Кубок жизни пламенит².

Ошибается ли тут Митя, изменяет ли ему острота и правдивость его любовного ведения или нет? — Он чувствует, знает, что как-то нужны и оправданы даже гнусные проявления его личности, хотя от этого не перестают они быть гнусными. — Насекомым дано в удел сладострастье: в нем закон и цель их жизни; более: чрез чего они поднимаются от низости безразличия. Но

Чтоб от низости душою
Мог подняться человек,
С древней матерью-землею
Он вступи в союз навек³.

2. В чем же смысл и ценность гнусного, того, что в нем обнаруживает себя и само по себе не может, не должно быть отвратным, того бытия, которое лежит в его основе и должно, как бытие, быть благом? — Перед нами один аспект объединившейся со стихийною силою личности — аспект мучительства, насилия, безграничного властвования и убивания. «Вот она от меня, клопа и подлеца, *вся* зависит, *вся* кругом и с душою и с телом. Очерчена». Я, мое маленькое эмпирическое я, стремится к одинокому самоутверждению в полном обладании любимой (хотя бы на миг любимой), в полном растворении ее в себе. Я хочу, чтобы любимая совсем, вся была моею, мною самим, чтобы исчезла она во мне и внешне отнее ничего не осталось. Эта жажда господствования и убийства есть во всякой любви; без нее, без борьбы двоих не на жизнь, а на смерть любить нельзя. Любовь всегда насилие, всегда жажда смерти любимой во мне. Даже когда я хочу, чтобы любимая властвовала надо мною, т.е. когда хочу ее насилия надо мной, я хочу именно *такого* насилия, уже навязываю любимой *мою* волю. Отказываясь от всяких моих определенных желаний и грез, самозабвенно повторяя: «да будет воля твоя», я все же хочу, чтобы она (ни кто другой) была моей владычицей, умертвила меня, т.е. отождествляю мою волю с ее волей и в ней *хочу* своей гибели. И уже не она владычествует — я владычествую. В предельном развитии своем подчинение рождает господствование. И в этом пределе нет уже ни того ни другого, а только единство двух волей, двух я, единство властвования и подчинения, жизни и смерти. Оно сказывается даже в разорванности нашей эмпирии. Им объясняется странное чувство, всплывающее в изнасилованной любимым. — Ощущение несправедливой

униженности, испытанного насилия часто неожиданно сменяется жалостью к насильнику, словно он не наслаждался, а страдал, не насилывал, а сам испытывал насилие. Откуда это иррациональное чувство, каков смысл этой жалости нежной, если она всегда обманывает, если насильник на самом деле не жалок, как безвольный раб увлекшей его чрез любимую стихии? Он не довел до предела напряжение своей воли к властвованию, не преодолел темного в себе влечения чрез отождествление своей воли с волей любимой. Вместо того, чтобы стать господином, он стал рабом, но не рабом любимой — тогда бы он стал и господином ее — а рабом темной силы, сломившей и любимую, и его самого. Поэтому он должен испытывать чувство унижения и стыда, чувство отвращения к себе и даже к любимой, которая без борьбы уступила ему, не устояла; должен мучаться своим одиночеством, ибо не полон был плотской их союз. *On te animal post coitum triste*⁴.

Итак, само стремление господствовать и насильничать, причинить смерть естественно и необходимо в любви, как неполное ее, ограниченное выражение. Часто оно проявляется грубо и жестоко, как первобытное рабовладельчество, но часто принимает вид изысканного мучительства, захватывая всю сферу душевности. Предполагая жажду подчинения и рабствования, оно словно испытует, есть ли еще сила другого, им, насилием, не сломленная; издевается, истязает. Нередко бурная и нетерпеливая стихия не ждет мольбы, жажды быть властвуемой, ломая все препятствия, неудержимая, самоутвержденная. Не всеми прощается такое насилие, и прощается с трудом, оставляя на всю жизнь болезненные следы, сглаживаемые лишь печальными зорями старости. Но в этом случае не осуществлено и само властвование: не все подчинено и взято — осталось сопротивление воли, только внешне сломленное, не было вольного подчинения. Властвование может стать полным лишь тогда, когда подчинена и воля, т.е. когда обе воли, подчиняющая и подчиняемая, стали одной. И не совершается ли во всякой любви необходимое для такого слияния уподобление воли властвующего воле властвуемой, нет ли во всякой любви и вольного подчинения? — Я хочу господствовать не над вещью или телом, а над личностью, над *данной* личностью, над любимой моей и жду от нее именно такого, свойственного ей и только ей ответа. Всем этим образуются, определяется моя воля, подчиняется вольно воле любимой моей, сливается с нею в единство. Вот почему вслед за самим актом обладания в душе обладавшего рождается чувство нежной благодарности, преодолевающее отвращение и стыд, преодолевающее тоску одиночества. Свободно, свободно отдалася любимая: был одним ты с нею хотя бы одно мгновенье!

3. Есть своя правда и в рабовладении и в рабствовании, хотя и бытие ущербленное, ограниченное. И то и другое как бы два разъединивших-

ся лика Любви, живых в ее единстве. И к этому единству одинаково стремятся и Митя и Федор Павлович. Но если правда все мною наблюденное, в обоих, и в отце и в сыне, должен проявляться и второй лик Любви: не могут они быть только «злыми насекомыми», не подниматься душою от низости. Он и проявляется. — Как представляет себе Дмитрий Федорович свое возможное будущее с Грушенькой? — «Буду мужем ее, в супруги удостоюсь, а коли придет любовник, выйду в другую комнату. У ее приятелей буду калоши грязные обчищать, самовар раздувать, на посылках бегать». Здесь много чувства оскорбленного человеческого достоинства и горечи, но по существу — готовность беспредельного подчинения. Митя подымается выше, удаляясь от всего похотливого, когда мчится в Мокрое, чтобы в последний раз взглянуть на Грушеньку и умереть. Любовь, сама Жизнь, довела его в самоотвержении до последней грани своей — до Смерти. И глубокою искренностью прозвучало стенание его истерзанной хождениями по мукам души: «Прости, Груша, меня за любовь мою, за то, что любовью моею и тебя сгубил». Митя уже знает, что единство Любви нерасторжимо и гибель одного неизбежно влечет за собою гибель другого. И не о «цветочках польдекоковских», не об «изгибе», не о господствовании думает он, полный Любовью в преддверии Смерти. Но Любовь — Жизнь. И в страшную минуту полной оставленности и отчаяния подымается Митя до яркого сознания единства и *соравенства* с любимой, до трогательно-благородных, хотя и наивно-неуклюжих слов, торжественно прозвучавших в заплыванной комнате грязного трактира: «Спасибо, Аграфена Александровна, поддержала душу!»

Всё это Митя, не Федор Павлович. — Но разве уже совсем не заметно того же и в Федоре Павловиче? — Мне кажется, мы ошибаемся, испытывая вместе с Митею только чувство омерзения, когда всматриваемся в лицо старика и вслушиваемся в его голос, окликающий Грушеньку, когда не хотим вникать в глубокою нежностью неожиданных в его устах эпитетов: «маточка», «ангелочек», «цыпленочек». Здесь рабствование и нежность, та нежность, которая не знает: как назвать любимую, какое новое имя для нее измыслить, которой хочется принять любимую как милого наивного ребенка. И не чувство ли благородного негодования и настоящая идеализация, т.е. познание умопостигаемой личности, — пускай сопровождаемые шутовством: без него Федору Павловичу не обойтись — вспыхнули в нем, когда он в келье старца Зосимы вступился за ту, которую оскорбили, назвав «тварью» и «скверного поведения женщиной»? Федор Павлович Карамазов, угодливый подхалим, битый в собственном своем доме, — рыцарь? — Да; трусливый и хитрый, дрожащий за свою жизнь, он забывает обо всем, когда Дмитрий врывается в его дом в поисках

Грушеньки. Он уже не трепещет от страха; его приходится держать: страха как не бывало...

В душе Федора Павловича просыпаются неожиданные, казалось бы, чувства. Сына своего Алешу он «полюбил искренно и глубоко». «Как бы что-то проснулось в этом безвременном старике из того, что давно уже заглохло в душе его: «Знаешь ли ты, — стал он часто говорить Алеше, приглядываясь к нему, — что ты на нее похож, на кликушуту?» В сыне он увидел мать и снова, может быть, полюбил ее, только более чистой и светлой любовью, тою, какой любят умерших. Алеша несет ему радость и свет; Алеша открывает нам самую глубь души Федора Павловича: «Сердце у Вас лучше головы».

«Не стыдитесь столь самого себя, ибо от сего все лишь выходит». Так говорит Федору Павловичу старец Зосима. — Федор Павлович, этот срамник и бесстыдник, стыдлив; он жертва своей стыдливости. Он чувствует влекущую его стихию, которая ломает волю, но он не хочет обмана, а жаждет правды, «натурального вида», хотя этот вид и пугает его самого. Ощущая внутреннюю красоту и правду, лежащие в основе его вожделений и ими искажаемые, Федор Павлович не может всецело себе поверить и, как и сын его Дмитрий, в недоумении и колебании стоит перед неразрешимой загадкой. Его давят внешние, условные схемы: он раб ходячих взглядов и оценок, хотя и лукавый, непокорный раб. Он как-то признает эти схемы. Отсюда — озорство и срамота, все-таки не доводящие до натурального вида: до обнаружения того, правду чего он внутренне чувствует. И дело не только в преодолении внешнего: схемы живут в самом сознании, неотрывны от него, и чувство распада и возмущения проникает в самую глубь души. Преодолеть *этот* разлад внешним озорством и ёрничаньем невозможно. Он остается во всей своей внутренней остроте и невыносимости, сказываясь в борьбе с самим собою, в порывистом утверждении *своей* правды, в лихорадочном, неосмысленном осуществлении мимолетных своих желаний, в которые не удастся окончательно поверить, которые невозможно понять как всеединую, целостную правду.

Низменна карамазовская любовь, мелкая, дробная. В ней нет собранности; нет центра в ее безобразной и безобразной стихии, но каждый момент этой стихии на мгновение становится отъединяющимся от всего, замыкающимся в себе и быстро исчезающим центром. И тем не менее из этой любви растет вещее знание, в ней рвется наружу безмерная сила, из ее зыбкого болота поднимаются чистые, белые цветы. Мучительство и насильничество перерождаются в нежность и жертвенность; одинокое самоутверждение — в самоотдачу. На миг раскрывается первозданное единство. Но коснувшись светлых вершин, эта любовь снова низвергается в топкое болото, становится сладостра-

стием жалкого насекомого. Федор Павлович рождает Ивана, глубокий и тонкий, больной от правдивости своей, неутомимый и жестоко-истязующий себя и других в своих исканиях ум, рождает Дмитрия, «горячее сердце», и Алешу с его чутким пониманием людей и мира, с его нежною любовью, родною «серафической любви» старца Зосимы; но он, он же рождает и Павла Федоровича Смердякова, отцеубийцу и самоубийцу единой жизни, нелепо, но вдохновенно изливает свое сердце и в чужих стихах и в прозе.

«Красота — это страшная и ужасная вещь! Страшная, потому что неопределимая, а определить нельзя, потому что Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут... Страшно много тайн! Слишком много загадок угнетают на земле человека. Разгадывай, как знаешь, и вылезай сух из воды. Красота! Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом Содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом Содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его, и воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил. Чёрт знает, что такое даже, вот что! Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В Содоме ли красота? Ведь что в Содоме-то она и сидит для огромного большинства людей, — знал ты эту тайну или нет? Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей».

4. Как в зеркале вогнутом, в карамазовской любви отражается Всеединая Любовь. Ее черты искажены, но это все-таки ее черты: мы их узнаем. — И карамазовская любовь — чудесное ведение, необычайно тонкое познание, не только разлагающее, как разум, но и единящее, как ум. Этим она несравнимо превосходит так называемую любовь, любовь средних людей, обывательскую, имени своего недостойную. Но она не только ведение — она мощная стихия, властно захватывающая все существо человека, несущая безумие, влекущая на преступление и гибель. Она доводит до граней Смерти, кровно связанной с нею.

В своих противоречиях карамазовская любовь таит единство и единством связует их и переплавляет друг в друга. Потому-то в ней и «берега сходятся» и «все противоречия вместе живут», как с удивительной прозорливостью замечает Митя; потому-то в ней и «дьявол с Богом борется». То она — безудержное стремление к власти, насилию, убийству, могучее, но слепое и в слепоте своей недостаточное, кидающееся из стороны в сторону, теряющее силы и мельчающее; то подымается она до предощущения истинного двуединства и соравенства; то живет в чистоте и самоотречении — то падает до грязного

и тупого сладострастия насекомого. И в гнуснейших проявлениях своих, в Содоме, грезит она о Мадонне, все же ощущая какую-то свою правоту; и поднявшись до светлого лика Мадонны, с тоской низвергается назад, в мертвое море Содома.

Но где же двуединство в этой готовности «прильнуть к какой угодно юбке?» — А разве не нашел Митя свою Грушеньку, Иван — свою Катю; разве не «должен» будет жениться и Алеша? Не знаю, была ли своя избранница у старика? — Внутренно разъединенный, тлеющий и смердящий, он мог избрать или подобрать под забором лишь Лизавету Смердящую, родившую ему его убийцу, который сам не знал избранницы, потому что был и самоубийцей. Федор Павлович не искал свою единственную, жадно и скупно пытаясь жить и любить только в себе и для себя, стараясь удержать в себе то, что влекло его в другую душу, неведомую, но близкую, и в мир. Он думал только о себе, о своем одиноком самоуслаждении; но одинокое я неполно: оно — лишь часть истинного. Отъединившись, оно полагает начало тлению и, разрывая единство любви, разрывает и себя самого — дробит единое чувство на бесчисленность мелких преходящих мигнов. Поэтому в основании своем ложно стремление создать свое эмпирически-отъединенное единство. Единство истинное может быть только двуединством в триединстве Любви. Всякое такое стремление не что иное, как попытка утвердить первичный распад; и должно оно вести к дальнейшему разложению отложившегося от двуединства и уже разложившего его я, т.е. к гибели и смерти. Оно в цели своей есть самоубийство. Но в полноте разложения исчезнет ограниченность и самозамкнутость отъединенного я, ибо это разложение отъединенного. А так как я отъединено не всецело: иначе бы его и не было, — в процессе его разложения не погибнет, а обнаружится его истинное бытие, «но так, как бы из огня», из смерти восстанет бессмертная жизнь. И лучи этой бессмертной жизни, лучи Любви пронизывают темную душу Федора Павловича, являют себя через него в том, в чем он себя самого отрицает.

Однако не иллюзия, не сон эмпирически-низменная любовь. Мучительство и властвование оправдано и истинно, когда оно сливается в двуединство с подчинением. Оно ограничено, неполно, отвратно, когда сосредоточено в себе, когда маленькое эмпирическое я не хочет выходить за свои им же создаваемые тесные границы. Но и в этих границах каждый момент его реален и бытиен, необходимый как момент целого. Целое исчерпывает себя во всех моментах и, как целое, властвование одно с подчинением, обладание с самоотдачей: жизнь завершается в смерти, становясь полнотою любви. Всеединая Любовь не жизнь: она — выше ограниченной жизни и ограниченной смерти, она — их единство.

Плотская похоть, отвращающая нас в Федоре Павловиче, сама по себе не может и не должна вызывать к себе отвращение. Ни отвращения, ни стыда не знают животные. Мне стыдно явить любимой мое телесное или духовное безобразие, и я преодолеваю этот стыд, жертвуя им для нее, если знаю, что она любовью своею сумеет в безобразии моем найти истинность его. Мне стыдно другим открывать то, что ей открываю, самое во мне дорогое, лучшее; а ей без стыда лучшее свое я отдаю. Но страсть моя не безобразна, если моя она, а не властвует надо мною, если должное место занимает она в духовном единстве моем. В страсти и похоти своей я стыжусь тогда, когда подчиняюсь ей как чуждой мне силе, когда теряю себя и волю мою. Мне стыдно страсти моей, когда она увлекает и подчиняет меня, не тогда, когда, с нею сливаясь, страстно люблю, ощущаю полноту и красу всеединой жизни моей.

Две сущности во мне: тело и душа, животное и духовное начало. Знаю, что духовное должно царить и осуществлять себя в единстве с телесным, подчиняя и направляя его. Тело выполняет закон своей природы, закон животного мира, и во всей изменчивости своей осуществит свое единство, чрез возникновение и разложение будет и самим собою и всем. Но только дух в силах возвысить это единство над состоянием потенциальности, преобразить материю, усовершенствовать ее. И должен он сделать это не в отъединенности своей, а в обращенности к телу, в гармоничном единстве с ним. Он не должен жить особняком, не должен забывать о мольбах и хотениях тела. Он его образует, поддерживает создаваемое им единство, преобразует грубую материальность. И стыдно ему, когда, позабыв свою цель, пренебрегши полнотою Любви, в которой должен он жить, забывает он о царственном положении своем и равнодушно глядит на «безумные» стремления тела своего или вместе с ним довольствуется малою степенью Любви, телу уделенною. Тело само не знает, что творит. Оно безвинно; оно в себе самом хорошо и прекрасно. Но тело не полно, не совершенно, отрываясь от единства, преходя и телесно не достигая полноты. Достижение же полноты моей не в отказе от тела, а в развитии его, когда утверждение одного момента становится утверждением всех, т.е. и отказом от себя, когда Любовь и в теле осуществляется единством жизни и смерти, когда оно воскресает.

Отвратительна карамазовская похоть, потому что она остается в низинах животности, в том, что для духа — болото. Она изменна для человека в отъединенности ее, допускаемой косою леностью духа; гнусна как отрицание всего, кроме себя самой. А извращенность, изысканность, расчленение и многообразие похоти — признаки попыток достичь полноты собиранием жалких крох и создать единство разъеди-

ненными усилиями, низвести небо в болото. Такие усилия возможны потому, что дух не находит в себе сил или не хочет все объединить и разлагается сам. Разврат — распадение духа, утрата им своего единства в отрыве от того духа, который его дополняет, и от триединства Любви. В карамазовщине отвратительна смердяковщина; ужасен тяжелый запах тления. Федор Павлович не тупое животное. В отъединенности своей, в самоутверждении и сосредоточении на эмпирически своем он всю силу своего духа влагает в жизнь своей животности, не преобразуя ее и не возвышая, а держась на ее уровне, не объединяя ее, а только пронизывая духом разъединенные ее моменты в особенности каждого из них. И дух его разлагается и тлеет в тлении невинной и безумной, как невинна и безумна Лизавета Смердящая, животности. Федор Павлович, любя низменно и животное, одухотворяя моменты разорванной своей любви, чувствует свою правоту в признании и одухотворении плотского, но сознает в то же время недостаточность такого одухотворения, страдает и стыдится. Его любовь — и правда, и мерзость, мерзость — как недостаточная правда. Не веря лучшему в себе, своему сердцу, не слушая зовов любви, воспринимая и сами ниспосылаемые ею озарения как только свое наслаждение, он борется с собою, в животной слепоте воинствуя, утверждает ограниченность плоти. И он находит предел и смысл ограниченно-плотской любви в обладании безумным телом, телом идиотки, пронизывает его чистую материальность духом, но, не поднявшись над нею и ее не преодолев, раскрывает недостаточность плотской любви. Лизавета рождает ему смерть — его убийцу, мертвого и пустого душой от колыбели Смердякова, повара и хама.

5. Федор Михайлович Достоевский, кровно близкий своему герою и тезке, искал какого-то оправдания карамазовщине, учившей его, Федора Михайловича, любить, как Зосима. Он пытался примирить Зосиму с Карамазовым вопреки безобразной сцене в келье «священного старца». И Зосима как будто понял — а можно ли понять не полюбив? — и Федора Павловича, и Митю, и Ивана. Он поклонился земно великому страданию Мити, словно оправдав и освятив его жизненный путь. Он и Алешу посылал в мир, предрекая и предуказуя ему женитьбу и чрез него благословляя жизнь. — «Много несчастий принесет тебе жизнь, но ими-то ты и счастлив будешь, и жизнь благословишь, и других благословить заставишь, — что важнее всего»... Но удалось ли это примирение Карамазовых с Зосимой? Действительно ли все прияла в себя любовь схимника? Отчего же от усопшего старца изошел «тлетворный дух» так скоро, что «естество предупредил»; отчего и он «провонял»?

Яркая и острая, но болезненная и только словами осуществляемая любовь чахоточного брата запала в душу девятилетнего Зиновия-

Зосимы. Это — нежная, радующаяся и радующая любовь бессильного телесно, тихого и кроткого юноши. «Мама, не плачь, жизнь есть рай, и все мы в раю, да не хотим знать того, а если бы захотели узнать, завтра же и стал бы на всем свете рай». Все перед всеми виноваты: надо только понять это. И радовался, и трепетал умилением и любовью умирающий Маркел. Хотелось ему «гулять и резвиться, друг друга любить и восхвалять, и целовать, и нашу жизнь благословлять». «Да, говорит, была такая Божия слава кругом меня: птички, деревья, луга, небеса, один я жил в позоре, один все бесчестил, а красы не заметил вовсе».

Но все ли принято? может ли принять, не мысленно, а на деле, прикованный к постели умирающий юноша? И не такова ли немного и любовь старца Зосимы? — Его душа умиляется, взирая на мир. Он видит, что «старое горе, великою тайною жизни человеческой, переходит постепенно в тихую умиленную радость». Он светло принимает смену юности разрушающейся старостью и, благословляя восход солнца, *еще больше* любит «закат его, длинные косые лучи его, а с ними тихие, кроткие, умиленные воспоминания, милые образы из всей долгой и благословенной жизни, — а надо всем-то правда Божия умиляющая, примиряющая, всепрощающая!» Он радуется близкой смерти своей, чувствуя, что его земная жизнь «соприкасается уже с новой, бесконечною, неведомою, но близко грядущею жизнью, от предчувствия которой восторгом трепещет душа... сияет ум и радостно плачет сердце»... Не много ли в этой любви русского «серафического отца» самоотречения и отказа от мира, для него все же юдоли слез и испытаний? Не далека ли столь «близкая» «грядущая жизнь», «неведомая»? И согласуются ли с приятием мира слова тому же Алеше: «Мыслью о тебе так: изыдешь из стен сих, а в миру пребудешь, как инок»?

Понятно восхищение Божьей мудростью; и легко любить лес и птичек лесных, всякую букашку, муравья и «пчелу золотую», «природу прекрасную и безгрешную». Можно *простить* Федора Павловича, поняв свою вину перед ним. Но трудно все полюбить в нем, а без любви ко всему, даже к насекомому, нет и полного приятия мира. Старец знает, в чем проклятие мира. — Оно в «уединении» всякого, т.е. в разъединенности, в распаде — в зависти и ненависти. «Всякий-то теперь, — говорил Зосиме его таинственный друг, — стремится *отдалить* свое лицо наиболее, хочет испытать *в себе самом* полноту жизни, а между тем выходит из всех его усилий, вместо полноты жизни, лишь полное самоубийство, ибо, вместо полноты определения существа своего, впадают в совершенное уединение. Ибо все-то в наш век разделились на единицы, всякий уединяется в свою нору, всякий от другого отдаляется, прячется и что имеет прячет, и кончает тем, что сам от людей отталкивается, и сам людей от себя отталкивает». Этому разъединению

противостоит умиляющее единство Любви, «деятельной и *живой*». «Землю целуй и неустанно, ненасытимо люби, всех люби, ищи восторга и исступления сего. Омочи землю слезами радости своея и люби сии слезы твои. Исступления же сего не стыдись, дорожи им, ибо есть дар Божий, великий, да и не многим дается, а избранным».

В упоении своею вселенскою любовью старец доходит до порога стоящей перед ним тайны. Он зовет любить человека и во грехе, «ибо сие уж подобие Божеской любви и есть верх любви на земле». Он исполнен «сокровенным ощущением живой связи нашей с миром иным, с миром горним и высшим», и знает: «корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных». Остается сделать один только шаг; но его ни Зосима, ни Федор Михайлович сделать не решаются. Человека, говорят они, надо любить во грехе, но греховное о нем — нацело отсечь, как злое бытие, победить зло силою смиренной любви. Признаются лишь «*корни* наших мыслей и чувств», не цветение их; а мир святых человек остается отъединенным от мира животного, душа — от тела. Истинный и единственный путь к жизни и любви в иночестве, отсекающем «потребности лишние и ненужные», гордую волю. Не к преображению мира, не к пронизанию его до самых последних глубин, зовет старец, а к царству грядущему, к отказу от «лишнего и ненужного». Точно есть что-нибудь ненужное и лишнее в Божьем мире! Любовь Зосимы не оправдывает всего мира, не оправдывает Карамазова. Она — высший из видов Любви на земле, но только одно из ее проявлений, не сама Всеединая. Она тоже отъединена, и потому обречена на умирание. В ней нет героизма и полноты напряжения, той жизни, которая неудержимо и бурно являет нам творчество Божье.

Но мы должны додумать до конца начатое автором Карамазовых; мы должны провести нашу любовь и по этим топям. Чего нам бояться? — Любовь чиста, и к ее белоснежным одеждам грязь не пристанет. Из болотного тумана она встает еще прекраснее. В чистое золото превращает она самую грязь. И понятнее тогда, что любовь она, ибо Любовь как солнце озаряет все, согревает и живит малейшую мошку, дарует жизнь и радость последнему насекомому.

Душу Божьего творенья
Радость вечная поит,
Тайной силою броженья
Кубок жизни пламенит.

